

www.promegalit.ru

александр петрушкин  
подробности  
книга стихотворений

поэтическая серия  
«ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ»



THE BERRY...  
TALMO...  
SECRET...  
SPAIN...  
ASSIST...  
1850...  
CENTR...  
SHERID...  
18-12-20...  
LONDON...

александр петрушкин

подробности

Евразийский журнальный портал «Мегалит»  
2015

УДК 821.161.1  
ББК 84 (2Рос=2Рус) 6-5



**Александр Петрушкин.** Подробности: книга стихотворений./Предисловие Наталия Черных/Послесловие Андрей Тавров - сер. «Только для своих» - Евразийский журнальный портал «МЕГАЛИТ» - Кыштым, 2015 г. - 120 с.

УДК 821.161.1  
ББК 84 (2Рос=2Рус) 6-5

**ISBN 978-1-304-29231-5**

- © Александр Петрушкин, стихотворения, 2015
- © Наталия Черных, предисловие, 2015
- © Андрей Тавров, послесловие, 2015
- © Александр Петрушкин, дизайн, верстка, 2015

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Наталья Черных. В лице у темноты . Предисловие

/7/

ЧААДАЕВ

/11 /

В полубреду болезни детской

/ 12/

Я пережил здесь смерть

/ 13/

ПРОРОК

/14/

ВОДОМЕРКА

/15 /

Щебечет чашка воробья

/16/

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

/17 /

Подробны льдина и пчела

/18/

Здравствуй, милый, милый дом

/19 /

Под райским деревом земля обнажена

/21/

Папиросный свет из трясогузки

/22 /

ИСЕТЬ

/23/

ΕΚΤΟΡΑΣ ΤΥΔΥΜΕ

/24/

О символах любви и смерти  
/25/  
Беспечный вечер, как последний  
/27/  
Империя грачей в конвертах снега  
/29/  
Слоенный мартовский пирог  
/30/  
ПОТРОШЕНИЕ РЫБЫ  
/31/  
БЕСТИАРИЙ  
/33/  
волчок кружится – как бычок  
/60/  
Статичен твой фотоаппарат  
/61/  
СКОРБНАЯ ПЕСНЬ  
/63/  
Круги рисует отраженьё  
/65/  
В земле спит госпиталь пернатый  
/66/  
Теперь живём не опасаясь  
/68/  
Смотришь в снегопад, а он – в тебя  
/70/  
Есть три молитвы у меня  
/71/  
Чеширская улыбка стометровки  
/72/

Лист, разлинованный как ангел

/73/

Там, где тяжелая вода

/74/

ИМИТАЦИЯ РАЯ

/76/

Дудка светлая, июнь

/78/

А дождь, который вход за дождь

/79/

И поражения подарок

/81/

ОДА ВО СЛАВУ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

/82/

Аист заходит шуурша, как дождь

/85/

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ СНОВИДЕНИЙ

/86/

ЖМУРКИ

/88/

Потраченный песок

/90/

АНГИНА

/93/

И дождь, который стая птиц

/95/

ФОМА

/98/

ФОТОГРАФИЯ ЗМЕЯ

/99/

Складное небо, что вмещает зонт /  
/100/

Солома, что в слепые облака  
/101/

Уже не я живу, но он растёт во мне  
/102/

Без человека – ласточка, синица  
/103/

Ресница и слеза  
/104/

Смерть проходит сквозь меня  
/105/

Бог возвращает серебро соломы  
/107/

Вероятно, что стая птиц – это листья, что  
/108/

И, небо раздвигая словно створки  
/109/

В туннеле света рой и пчелы  
/110/

Беги, беги, ягнёнок, вдоль воды  
/112/

Окажется воздух кессонным  
/114/

**Андрей Тавров. Метаморфоза, созерцающая себя** Послесловие  
/115/

## В ЛИЦЕ У ТЕМНОТЫ

У Александра Петрушкина немного авторских сборников, тем более ценны эти «Подробности». Читаются они без отрыва. Это книга-путешествие – поэта и вместе с ним читателя. Путешествие предстоит далеко не скучное и не развлекательное, а очень трудное, подчас невыносимое. Что мне нравится – поэт не повышает голоса на протяжении всей книги. Стихотворения звучат размеренно, дружелюбно и однако от них порой бегают холодок. Величественный цикл «Бестарий» с Орфеем сменяется короткими перебежками, затем автор выводит читателя почти к балладам.

Чем дальше, тем больше настораживает это витиеватое спокойствие. Автор не встряхивает читателя (от дорожной спячки), не внушает некие мысли, не стремится открыть глаза. Читатель поначалу растерян: а где же тут поэзия, в которой и «чувства добрые», и «свобода». Всё названное находится, согласно «Подробностям», на подбавляющем месте. Только место это – Тыдым, куда и ведёт путь. Автор не так наивен, как кажется. Он видит, что с читателем может случиться припадок страха. Тогда автор, нежно взяв читателя зубами за шкуру, тащит по непролазным дорогам до самого Тыдыма, и не бросит, пока путешествие не закончится.

Здесь можно было бы уйти в ассоциации: кто, когда и как- что делал в поэзии. Здесь – гора, называется так-то, а там – улица имени... Однако в Тыдыме нет гор и рек, да и самого Тыдыма по сути нет. Есть город Кыштым, через который можно попасть в Тыдым. Но что такое Тыдым? Край? Посёлок? Город? Непонятно, и в этом «непонятно» – одна из главных ценностей книги.

Точность мила сердцу, но её применение двояко. Порой точность – отличный инструмент обмана, из неё идёт в глаза та самая пыль. Сказав точно, можно и солгать. «Подробности» - явно не этот случай. Неточность в русской поэзии находилась и на-



ходится на особом положении, что ценности меткого слова не отменяет, наоборот. Поразившая Пушкина «алмазна гора», которая «сыплется» была абсолютно неточной, избыточной, но она передавала образ. «Алмазна гора» родила скупую и столь же иносказательную «свободную стихию», которая «катит» и «блещет».

Задача, в отношении «Подробностей», как вижу, следующая: нужно не свалиться в притчевое повествование (как в овраг) и не сорваться со скалы собственных амбиций (что по большей части в рифмованной поэзии нынче и происходит). «Подробностям» обе задачи удались. По назначению оба – автор и читатель – прибыли. В Тыдым. Автору некогда указано было (Кем? Каким образом? Читаем книгу.) место его поэтического делания и названо имя этого места. Поэтов «с местом» вообще немного в современной отечественной поэзии. Тем интереснее – что такое Тыдым, и что же в нём есть.

Зона. Сталкер. Но здесь - снова ненужный уход в ассоциации. Однако передо мной, как роковой камень с надписью, возникла одна из многочисленных загадок этих стихотворений: как можно во второй половине десятых годов двадцать первого века так обработать нежную смертельную семидесятичную тоску (кроты – наследие Гомера), чтобы пользоваться ей как картой? Материализовать её в этих ангелов, которые роятся по всей книге как пчёлы? В этих бесконечно нежных на ледяном ветру рыб? Пытаюсь сравнить и вижу, что сравнение невозможно. В памяти вертятся последние стихи Арсения Тарковского, поздний Пастернак, поздний Заболоцкий, Вознесенский. Мостика оттуда в Тыдым нет, но связь точно есть - в парадоксальном видении вещей. Тремя строчками автор уверит, что Бог ничтожен и мал, а затем обратится к нему как к подлинному источнику. Философия этой поэзии очень современная, критическая. Здесь религиозность объявлена детством, однако автор явно ищет новой религиозности, осознаёт это и подвергает критике и религиозность, и отказ от неё. Несмотря на первое лицо, при чтении кажется, что книгу писало несколько человек.

Такое ощущение, что это февральский хор волков, возможно, и оброчной, живущих (по несколько) в каждом современном человеке. Это поэзия передраг, неудач и амбиций. Этой поэзии, пусть это будет всего две строчки, слишком – с избытком. Эта поэзия раздражает, но она неизбежна.

Поэт – существо подверженное видениям. Где видения – там драма человека между двумя мирами. Это может быть гибельное безумие, может быть высокая драма осознанной жертвы. В чистом виде ни одно из названных двух веществ не встречается. Драма «Подробностей» - драма, смотря по большей части, высокая. И если бы я писала фабулу этой книги, я ориентировалась бы на Гёте с его «Фаустом». Только вместо книжника героем стал бы хорошо стоящий на земле мужчина среднего возраста. Впрочем, всё это литература. В стихах снова появляются ангелы, горы, снег: «смотришь в снегопад, а он – в тебя», тут же – «ангел жнёт как снегопад», «лошадей (незримых нам) камланье». Литература стыдливо уступает место словесной музыке.

И путешествие продолжается.

По пути возникают вполне предвиденные ситуации и непредвиденные препятствия: то и это слова рифмуются, но такая рифма уже была; а такие строчки – вообще дурной вкус. Автор в каждом случае находит необычное разрешение ситуации – инструментарий у него огромный. По сути, это уникальный случай выведения слов и тропов из тупика. Стихотворения как дверцы нечаянного обновления! После прочтения – если и возможно чувство разочарования – то только в том, что выведенной в новое пространство вещи не до конца расписали (как сценарий или интерфейс) судьбу. Но конечность и поэзия несовместимы. Поэзия – делание, соответственно – движение, направленное вовне или внутрь. Конечность – скорее законченность, а не совершенство. «Подробности» нужны всё же для совершенства. Для того чтобы закончить (судьбу, дело, дом) нужно нечто иное – идея, например.

Идея в «Подробностях» несомненно есть, но это скорее Достоевская мысль-чувство, идея-влечение. Что в целом свойственно русской литературе, а уж поэзии – тем более. Так что в «Подробностях» сохранена идеальная поэтическая география. А проводник по книге, поверьте, своё дело знает. Сусанин? Выражается порой темно? Так это очень по-русски. Завёл – куда? В Тыдым – «дым, который родина моя».

У замечательного переводчика, эссеиста и поэта Евгения Головина было рабочее определение «тёмный дикт» - в переводе эссе Гуго Фридриха о Стефане Малларме. «Тёмный дикт только «немного озаряет ночь творчества»». В своих статьях о поэзии Евгений Головин пользовался им часто. «Тёмный дикт» - высказывание, которое нельзя определить как притчу и нельзя понять буквально. Значение слова в тёмномдикте прикрито будущим. То есть, читатель смотрит в лицо темноты, пока не истлеет покров времени, и лицо темноты не откроет озарённые вдруг черты.

Стихи в «Подробностях» почти все – тёмный дикт. Всё, о чём они - ещё только формируется.

*Наталья Черных*

## ЧААДАЕВ

Предвестник рыбный появленья чаек,  
мальков сих возвращающих воде,  
где крошево ржаное прорастает,  
как осы у Протея в бороде,

почуешь кислород и эту тяжесть  
от жестяного, словно смерть, ведра,  
которое - в своем снегу пернатом –  
за клеточком куда-то жизнь несла.

Куда? - не видишь – Только едем, едем  
среди чаек тонких, разводных мальков,  
что изнутри следов звездою светят,  
как радость, в тьму – сокрытых в них – подков.

Так едем, сумасшедший Чаадаев,  
туда, где ангелы придумали нам кров:  
свободы нет – поскольку угадаем  
мы не предел, но утишенья слов.

И по краям у тишины и чёрных чаек  
сидит и греется такая темнота,  
что если рот случайно размыкаешь  
то светятся твои [уже] уста.

\* \* \*

В полубреду болезни детской  
и оспинах ночи дурной,  
что в табунах на небо влезла  
и там сияет глубиной

своей высокой, как держава,  
мотая головой на сон –  
нет, речь меня не удержала,  
но выгнала на стужу вон –

в полубреду болезни детской –  
и аутичной, и слепой –  
как слог ребёнка неизвестна –  
сгущает звук над головой

кобыльей, что моё излечит,  
косноязычие и с ним,  
как выдох, холод покалечит  
и – с бабочкою – отлетит.

\* \* \*

Я пережил здесь смерть  
свою, как эта дева,  
лежащая в садах,  
касающихся чрева  
всех насекомых божьих,  
живущих у огня...

О, родина, как смерть,  
не покидай меня!

## ПРОРОК

И в – кувшинов разбитых – чаду  
маслянистом, как речь фарисея,  
т.е. книжника, т.е. найду  
то, к чему до-коснуться не смею

горлом. В страхе животном труда,  
будто выдох с тревогой пожатый  
в лабиринт – где не глина горит  
яко ангел слепой. Из палаты

он несёт своё око в руке,  
свой язык, что удвоен пустыней  
коридорной – как будто бы свет  
одиноким случился и – длинным.

Горловина сужается, я  
оставляю тебе своё мясо  
и смеркается тонкий народ,  
говоря в животах у Миасса.

## ВОДОМЕРКА

*Евгению Туренко*

Не будет прошлого – посмотришь и не будет –  
как птаху непрозрачную нас сдует  
сквозняк, иголка, что в слепой руке –  
ты переходишь небо по реке.

И вдоль растут то люди, то не люди,  
а отпечатки их на дне посуды,  
их эхо ромбовидное – плыви  
подсудный, утерявший любой вид.

Никто не вспомнит нас лет через двадцать –  
так водомерка может оторваться  
от отражения слепого своего  
оставив лапки – только и всего.



\* \* \*

Щебечет чашка воробья,  
кофейный дух в себе лелея,  
где наша злая эмпирея  
однажды выпилит меня,  
и по дороге насыпной,  
в нутре подводы Сугомака,  
свезёт поленом на костёр,  
в котором ты невиновата.  
О, чашка воробья в окне,  
ты в месте затрецишь, где был я,  
не человеком, а скворцом –  
пока отпиливали крылья.  
Найдись, свобода или смерть,  
в холодном чуде пробужденья  
когда не глаз – а сна порез  
ты носишь, будто воскресенье,  
в расколоте своём лице,  
во всём, что спрятано снаружи –  
иди-свищи себя, как зверь,  
запаянный в медь местной стужи.

## ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

На переломе дерева пророс –  
как будто от экватора отчалил  
на чайке, что плывёт песком в Бангкок –  
на зрении своём, в чужой печали

читает вслух Бог наши имена,  
планируя за щепкою, как выдох  
и ловит соловьёв, кладёт в карман  
огня – и взрезав горло – этот выход

вставляет в шрамы им – и жестяной  
тягучий звук, на цып войны слетаясь,  
всё пахнет розами, как тёплый перегной,  
где женщина стоит, не раздеваясь.

\* \* \*

Подробны льдина и пчела,  
как горечь ветки тополиной,  
что гул внутри у фонаря,  
что ток, в котором ты повинен,

Бегут и льдина, и печаль,  
и ток речей сих лошадиных,  
и известь, что меня смела  
в февраль которым я так длинен,

в котором [как рыбац] сто ватт  
хрустят, свои перебирая  
косяшки, если дым идет  
в четыре стороны от края,

вдоль этой порванной пчелы  
и чётной половины нашей,  
где мы остатки колеи.  
Замедленное небо пашут

подробно льдина и пчела –  
февральские на дне укуса –  
и чернозём жуёт мороз,  
лишённый и лица, и вкуса.

\* \* \*

Здравствуй, милый, милый дом –  
неужели мы умрём?  
неужели всё увидим  
с посторонних нам сторон?

Неужели, заходя,  
Бог оставил нам не зря  
зреющий [как сердцевина  
яблока у сентября]

этот дом, своих детей,  
предоставленных себе,  
пересматривать картинки  
в цапках спелых снегирей,

где сухие, как сосна,  
ангелы стоят и «ма...»  
извлекают, словно «мурку»  
из лабальщика зима,

где прозрачна не вода,  
но чужие голоса,  
что лелеют нашу смертность –  
хоть она не холоса

и [как хвост] тьму сверлит –  
ту, которой говорит –  
неприличный собеседник,  
что в изнанке слов жужжит.

Здравствуй, милый-милый дом,  
пробуй язвы языком,  
ощущая, как из мяса  
вызревает нежный ком.

В клине кошек и старух,  
я стою [уже без рук]  
обнимая ртом скользящим  
старый, как мерцанье, звук.

\* \* \*

Под райским деревом земля обнажена,  
вода бежит невидимая или –  
три мёртвых лебедя лежали под землёй –  
гляди, гляди! – они уже ожили,  
и вот - бегут прозрачные в метель  
три лебедя три лошади три хляби,  
и март [в глазах сухих совсем сухой]  
простит меня – ни для чего ни ради  
под райским деревом прозрачным [ни мертва]  
вода кружит, как женщина и лебедь –  
как яблоко и апельсин права,  
смущенья и судьбы своей не стоит.  
И женщина – невидима, как блядь,  
прекрасна и обуглена от мужа,  
и отражается у дерева в глазах,  
как лошадь, что блестит как будто лужа.

\* \* \*

Папиросный свет из трясогузки  
и низинной крови водяной,  
что во мне ты снова в дым попутал  
под свою долгою губой?  
На губе и на земле чайковской,  
как чифир произрастая вновь,  
просыпаюсь каждым тёмным утром,  
засыпаю в белый перегонной,  
что меня звериными очами  
плачет и выдавливает в свет  
как пернатое [еще недо-созданье]  
из одних особенных примет.  
Я тебя в кармане убаюкал –  
ты лежишь и тянешь из меня  
утро не похожее на утро,  
свет квадратный – русский, как словарь.

## ИСЕТЬ

как на рыжеющем и мужеском пиру  
я эту чашу внове повторю –

как будто набирая из Исети  
холодных уток что попали в сети

светающего снега языка  
прохожего как будто с ИТК

он возвращается в спрессованный как ветер  
Катеринбург и сломан свысока

его мотив что повторяют дети  
когда вокруг его течёт река

и иссекает лики  
в мокром свете



## ΕΚΤΟΡΑΣ ΤΥΔΥΜΕ

*Андрею Пермякову*

В лодке фабрики усталой –  
тает снег, шагает правой  
вдоль по досточке рабочий  
между ледяных отточий.

Перед ним, в лице синицы,  
горит атом серебристый,  
и сучит ногой дитя,  
ожидая сентября.

А за лодкой ходит некто –  
будто убиенный Гектор  
наконец пришёл в Тыдым,  
где конечно все сгорим.

Загорелой своей кожей  
семафоря рыбаку,  
нас олень из тьмы тревожит.  
Из солёного Баку

в лодку фабрики, что тает,  
широко шагает снег,  
и идёт, как алкогольный,  
ледяной, как человек.

\* \* \*

О символах любви и смерти  
воспой нам, снежная дуга.  
Ты – дура, потому и осень  
цветущей оспой пролегла,

И потому, когда тебя я,  
немая дура, обниму –  
не лепечи со мной о смерти,  
когда по ней я протяну

железную, как гроб, дорогу  
[на ней вагончики поставь!] –  
смотри, как едет тело к Богу  
сквозь лес, похожий так на страх,

сквозь символы из шизанутых  
и годных к новой строевой  
живущих в доме серафимов  
и херувимов на другой,

пересечённой [будто нет нас,  
а только символы со дна  
перерастают эту местность,  
как ночь перерывает дня

колючую метель, где ёжик  
с тобою дурковать летит,  
и жалит, потому что может,  
сосулек чёрные клыки,

что пахнут родиной, портвейном  
и косяком, который смерть,  
где хочется немного верить  
и ненадолго умереть.

\* \* \*

Беспечный вечер, как последний,  
идёт по следу и по краю,  
щенком мелькая в щелях чашки,  
которую я наблюдаю

здесь на столе, где я однажды  
лежать с желтеющим лицом  
пребуду, как воображала,  
замкнув над осенью кольцо

из Пушкина и графомана,  
из лошади и тройки пчёл –  
как будто бы легла экрана  
татуировка на плечо,

как будто смотришь новый эпос,  
где я – холодный кинескоп  
в непрекращающийся вечер,  
который смотрит мне в лицо,

который облаком прикурен,  
таскает души через дым,  
в щенках, что оживут в отместку –  
и в этом весь его мотив,

который горлом мокрым, вязким  
озвучит тело на столе,  
пока душа из спелой чашки  
спешит осюю на плече.

\* \* \*

Империя грачей в конвертах снега  
хохочет, умирая, как земля –  
где рай похож на рай и одиноко  
лежащий смех в парных спит калачах.  
И одиноко дерево сквозь утро  
растёт до ангела с фольгой в голове  
и разбирает механизм, как чрево  
что отразилось в разрывной воде  
Пока докуришь эту папиросу –  
роса початая поспеет отлететь  
в свой напряженный и густой не отзвук,  
но память, разрезающую смерть,  
где сквозь порезы видишь, как гогочет  
земля сквозь жабры жирные свои –  
наверно отпустить меня не хочет,  
краснея так, что птицы не видны.

\* \* \*

*Алексю Александрову*

Слоенный мартовский пирог  
прозрачный, как в деревне голод,  
лежит дыханью поперёк –  
где свет на зрение наколот –

окоченев внутри у рыб,  
он здесь прохожий запоздавший.  
Осенних птиц летят круги  
из хора кабаков и пашни

в пирог дыхания, в овал  
сиреневый, что твой Саратов  
над в снег проваленной землёй –  
что тоже будет виноватой.

И распрямляясь, как пескарь,  
здесь встанет ангел придорожный,  
чтобы бензин навзрыд листать  
в снегах, теперь своих, подкожных.

## ПОТРОШЕНИЕ РЫБЫ

Рыбу потрошим ли сон ли  
покитайский нам толкуют..  
глухари или поэты  
с водочкой своей токуют

посредине пепелища,  
с букварём как буратины,  
носятся [почти стрекозы]  
на краях у драной льдины,

у ворованного края  
по щелям, по водным порам,  
смысл впотьмы не различая  
и почти что не готовы

к потрохам нерыбным, к водке,  
к лодке смертной у причала -  
и на утро вряд ли вспомнят  
что им чайка прокричала,

как их муза потрошила  
в мойке кухонной под краном,  
и лицо потом зашила,  
чтобы внутрь смотрела рана,



чтобы этот почитайский  
изучали и молчали,  
чтобы водочка и воды  
рваной чайкою кивали.

## БЕСТИАРИЙ

-1-

[Орфей]

Орфей в котором женщина, в которой  
растёт он сном и, протекая внутрь  
четвёртой мглой, сочится через поры,  
чтобы её над светом развернуть.  
Спускаясь в женщину, он чувствует её  
смолу, что обжигает каплю кожи,  
которую он ей преподаёт,  
чтобы она вернула ему позже  
вот эту ночь морскую, как звезда  
и восьмеричную, как все пути обратно.  
Ты понимаешь это? – если да, тогда  
не двигайся, смотри – здесь всё не ладно:  
здесь женщина, в которой спит Орфей,  
не возвращается, поскольку не уходит,  
но вышивает лишь мужчину на себе,  
который [будто смерть] её не тронет,  
но станет продолжением её,  
дыханием её равносторонним. И если Боги  
существуют, то они  
застыли между ними на пороге.

-2-

**[Черепаха]**

Блуждая в быстроногой черепахе –  
Ахилл её не спросит о себе –  
проходит снег на сто шагов Элладу  
но человека в той Элладе нет

проходит свет, да и ответ стекает  
за черепаху, что плывёт во тьме  
туда, за край, где смерть его моргает  
Пиррисию, смирившему свой гнев.

и подмигнув, как будто щит Ахилла –  
часть синема, цветёт [как кровь] здесь мгла  
и, бабочкою став неторопливой,  
зима встаёт водой в своих углах.

И плещется, как будто в колыбели,  
спешащий всю её опередить,  
Ахилл внутри у белой черепахи,  
похожей на его кровавый щит.

**[Конь] КОНИ ДИОМЕДА**

Накормлен был он мясом человека  
стоит, как яма, посредине тени  
своей пятном, съедающим все тени  
в губах у мрака. Впрочем, всё равно

он начинает скачку, приближаясь  
к её началу – вновь наполовину –  
почувствовав вину, длину и глину,  
которые поил своим вином.

Как виноградная лоза несёт он выдох  
проросший из войны, любви и праха,  
что остаются в скотской его гриве,  
что свита из лица, читай из страха

младенца, узнающего, что смертен,  
как этот конь, что пожирает яму,  
и яма из него на свет весь светит  
и обнимает мир, как Бога рану.

**-4-**

**[Тибетская коза. Апсирт]**

Так спешила Медея козу надоить  
и подать тебе сыра в мокром доме своём  
что – когда твою шкуру не решилась дошить –  
только ты и она оставались вдвоём.

И, когда на заре, ей порубленный брат  
отдавал тьме отца, чтобы шанс на побег  
увеличился на три-четыре весла –  
вместе с нею и ты оставляла свой брег.

Так драконы росли, поднимались вокруг  
и твоя золотая проронила вино  
коринфян научить заклинанию змей,  
что от плача абсурда детей не спасут.

Так спешила Медея детей накормить  
вытирала свои золотые соски  
и коза ощущала неясный испуг  
и ложились во круг из крови лепестки.

-5-  
[Гидра]

И змея опадёт, будто осень в Итаку,  
Пенелопа покинет свой раненый сад –  
остров твой многостыден, смыкась во мраке,  
уроборосы [время свершивши] спешат.

И змея поплывёт в середину июля  
и возляжет листом под дождя пузырьём,  
и очертит здесь краба в окружностях пруда,  
что блуждают в глотке от её хромосом.

Если будет Итака – то ты не поверишь  
что ужи рассыпаются, будто песок,  
где земля в их сосцы погружается грубо  
подменяя их кровь на берёзовый сок.

-6-

[Кошка]

ты вспоминаешь дом, спускаясь  
земле своей на все четыре  
где ничего не ожидалось  
но – приключилось

и вот когда свои четыре  
лица ты погулять отпустишь  
то здесь узнаешь все места –  
где нас забудешь

возрадуйся челнам, где хлеб наш  
растёт в тебе неторопливо  
и лев чихает в саркофаге  
водою свитом

-7-  
[Лев]

Шут красоты, есть счастье над тобой.  
Запаянное тьмой в кусты и дёрны  
оно качает полой головой –  
как будто сияясь о тебе припомнить.

И всматриваясь в свой пшеничный шар,  
ты сам становишься окружности превыше –  
когда парашютистом быть устав,  
ты зрение в огниво лёгких дышишь,

и продаваешь эту высоту  
в игольное ушко, как будто гривой  
запечатлён у времени во рту –  
на счастье, что мерцает под оливой.



-8-

**[Кролик]**

Собаки, что след возьмут, войдут в лабиринт,  
в который кроль своё распускает тело:  
после первой на второй волне снежной горит,  
но не оставляет гончим своим пепла.

Если его развернуть, то увидишь спазм  
выдоха предпоследнего – словно правый  
строит он из себя для себя лабиринт  
где от охотников с ним остаётся гравий.

Рельеф, который потеряешь ты,  
становится скелетом пустоты,  
взрывной волной в чужом телеэфире  
и глухотой песочной, где вода  
рифмуется с породой никогда,  
пока плывёшь ты в сжиженном эфире.

Своей воронкой встроен ты в пейзаж –  
как будто воздух взят на карандаш  
и сжат в твоё подобие пружины  
бикфордовой, и если издали  
в тебя посмотрит ангел – изнутри  
тебе простит и камни, и причины.

Причалит небо в семь твоих плечей,  
где кто-нибудь из местных басмачей  
раскроет смех беззубый и печальный,  
на воздушных висишь незрелым –  
пока он – прирастает неким раем,  
закрывает восьмым твоим, большим, плечом.

**-10-**

**[Слон]**

он здание стекла и камня  
течёт с высокой речи гор  
как вероятное преданье  
несёт из эха литый хор

налево повернёшь проснувшись  
и изморось пройдёт тебя  
как страх его двадцатитонный  
спрессованный в змеи кальян

и справа дождь кровотоочивый  
напоит глину и тоску  
невероятного прилива  
что прижимается к виску

-11-

[Орфей. Шакал]

Мордой в снеге Бог идёт,  
рядом малый идиот,  
следом белая тоска,  
и смолённая доска  
рассекает вдоль нору  
в эту белую дыру.  
Мордой в свете скачет Бог –

значит всё на оборот  
человека записал,  
стал весами и пропал,  
и лохматою собачьей  
плачет в паука, как в банку,  
что здесь выросла, как дверь  
на спиральном тростнике.

-12-

**[Бабочка]**

Вот тело в поцелуе протянув,  
как будто встреча радостна до смерти,  
лакает псом с её обеих рук  
то молоко, то воздух бесконечный,

размолотый на облик новый свой  
и на двоих что пали среди сада,  
где каждого рыжеющий лобок –  
воспоминанье о границах ада,

которые покинула она –  
точнее он, оно – ещё верней: неважно,  
когда она свободу ощутив  
растёт в любовниках - ещё темно и влажно,

когда она протянута сквозь свет,  
лишь нитью став от своего полёта,  
и ни о чём уже не говорит,  
поскольку это – не её забота.

-13-  
[Пчела]

Вода запаяна в янтарь,  
шевелит лапою мохнатой,  
сменивши кров свой на озон –  
летит в полёте небогатом.

И если здесь однажды дождь  
прошьёт морозом древесину –  
то ляжет кислород под нож,  
который Бог уже откинул.

И вот по капле он растёт  
и расцветает словно в сотый  
последний раз, где в лицах пчёл  
он продлеваем, как мёд в сотах.

-14-

[Утка]

Опережая скорбь звезды,  
осока обретает ветер –  
как будто бы внутри юлы  
гнезда утятки быстротечных  
распространяется полёт,  
когда они ещё без тела  
латают брешь меж там и тут  
своею жизнью неспелой,  
пока как яблоки лежат  
в ручье, плывущем вместе с ними,  
и изнутри его шуршат,  
и солнышко грызут как вымя,  
опережая скорбь звезды,  
в даггеротипа впавши рамку  
где их отец, как пух, парит  
и слёзы слизывает мамка.

-15-  
[Орфей]

Буксир, который на руке плывёт  
вдруг стал рекой и речью, оборот  
его перевернул, оставив водам  
теперь земным, и гроб, как будто чёлн,  
и Стенька рвёт его бумажный борт,  
как будто приготовившийся к родам  
внутри буксира оживёт пацан –  
он умер здесь, теперь по головам  
свистит, как соловей с других раёнов.

И песнь летит, перегружает борт:  
всё больше там, всё меньше здесь, и рот  
уже готов открыться и извергнуть  
тебя, душа, уже не уронить –  
ты протыкаешь плоть и режешь нить,  
вязавшую тебя, как немоту с народом,  
твоим, что остаётся в берегах,  
пока душа твоя уже в бегах  
и за буксиром следует в породах



И если ангел мир остановить  
пытался здесь, как водомерку сшить  
с прозрачным поражением – по водам  
ты бьёшь веслом и отплываешь внутрь  
где мы горим, переплавляя ртуть  
и холода, которыми предстанем  
с той стороны, и поражаясь здесь  
останется в воде вся наша взвесь,  
когда звездой мы вдоль буксира встанем.

Земли китайский веер под водой,  
раскрывший настужь в небо руконоги,  
ты горизонт порежешь в тонкий хлеб.  
И [в нёбе отразив твои пороги]  
печальный рак дымится на угле,  
где все углы хоть прочны, но прозрачны –  
твоя душа горит, как желтый дом,  
о малом, то есть самом настоящем,  
почти что алигьерьевском, саду,  
куда сойдя, плывёшь в своём плетенье –  
то раскрываясь, будто бы бегун,  
то замыкаясь, как стихотворенье.  
Когда-нибудь и я в тебя сойду  
(лет через пять – возможно, через восемь)  
и прорасту сквозь твой кипящий зонт  
и впалую волну, в которой осень  
плывёт, подобие улова разобрал  
на части две, сужаясь до пейзажа  
что в радужке гнездо пробил себе  
и ночь стоял – холодный, как поклажа.

-17-

[Медуза]

О, женщина земли ливийской,  
которой выпадает жить  
костяшка из морей и меди  
как птаха, что в силках дрожит,

как обещанье материнства  
или залог, что смерть придёт,  
прядёшь коралловые нити,  
но будет всё наоборот:

не там, где юные проходят  
в твоих змеиных волосах  
[чтоб конь, как скифы все бездонный,  
котёнком пел в их нежных ртах]

не там, где – взяв до половины  
в ладони часть своей вины –  
окаменеешь, как пороги  
постыдные, когда видны,

когда невидимое чудо  
в стеблях своей крови несёшь  
свернув своё лекарство жизни  
в смертельной головы кусок

**-18-**  
**[Пак]**

Вплавлен в дно и осьмилап –  
смотрит в небо, как дурак,  
спаян с оловом воды –  
оду он поёт, сверлит

дыры в тёмной высоте –  
как качель скрипит и, где  
он кончается – шипит,  
изменяясь, его вид.

Лопнет скорлупа его,  
и души веретено  
разматается сквозь свет,  
что впадает в мокрый снег,

где лежит,  
как буква о,  
это больше  
никого.

-19-

[Карп]

Чеканка медная воды,  
что стала кожей живой,  
плывёт среди себя самой,  
и гул несёт в свои мосты,

как дерево растёт, средь жабр  
перевернув ещё одну  
свою страницу – на луну  
ты смотришь словно дирижабль,

пересекающий Тибет –  
тебе ли говорить со мной?  
я сам такой же человек,  
как ты – на сушу павший Ной.

я сам такой же, как и Ты:  
как смертность развожу круги  
тоски слепой над головой,  
зажав в испанские тиски.

-20-

[Орфей. Зимородок]

жатва сходит с рук моих  
будто зимородок с птицы  
и гремит как будто мелочь  
по карманам или лицам

и округлый словно сон  
ангел забывая слово  
оловянное как дождь  
обжигается до клёва

-21-

**[Сирены]**

Эти камни ,что плывут за ним  
в облаках из пены быстротечной,  
изучают, как плавучий кедр  
собран был из всех земных увечий.

Эти камни, что лежат среди  
всех восьми небес у бегемота,  
музыку просверлят изнутри,  
где в левиафанах спит пехота.

и зола, что взломана водой,  
катится, как сом [внутри кровавый],  
где порезан хлеб мясной песком,  
и плывёт вдоль берега без пары

-22-  
[Голубь]

Войдешь в вираж пещеры, до полёта  
полёт осуществив где нет пилота  
и заводной ревет аэродром,  
срывая плоть твою до тьмы погон,

войдешь, как дым с винта снимая стружку,  
пещере оставляя кожи кружку,  
из вулканической породы пропадая  
[Помпеи здесь воспоминанье рая,

где сходит ангел и пророк в уста,  
как местных этик и полей кустарь,  
как человек свершившись наконец  
уходит – остаётся лишь гонец,

портвейн, переходящий в кровь и хлеб до рвоты,  
записанной, как клинопись в субботе]  
и семечки клюёт у магазина –  
всё также порвана до пораженья – Зина.



-23-

[Павлин]

сотворенный первым он  
в свет войдёт со всех сторон  
бык его сопровождает  
притворившийся дождём

и вглядевшись сквозь тебя  
растворится, зренье для  
до последнего предмета  
с правом первого гвоздя,

на котором в зеркалах  
ощутив посмертный крах  
он висит как пот и звёзды  
(то есть парус в существах)

несущественный пастух  
между землянистых рук  
держит мглу сосков коровы  
как чудовище и плуг

-24-

[Ящерица]

Во мгле межсезонья, как ящерица в валуне  
переваливается с боку на бок, с Богу во мне  
в Бога, в котором природа растёт словно я,  
переросло пятницу, как в семенах земля  
перерастает свет / стыд больше и уже, чем ночь –  
смотрится в щель темнота там, где смертельна точ-  
ным словам, или же мы словно циркуль стоим /  
над ящерицей валуна / светимся изнутри.

**-25-**

**[Ибис]**

в пёстром лице воды  
он открывает рты –

все свои восемь крыл,  
в которых почти серафим

память любовь к нему  
того что стоит в тени

ивы на берегу  
сможешь так протяни

то есть возьми его  
частью своей руки

так провожает он  
место где рыбаки

и на его голове  
с рыбами спит смола

и выкипает смерть  
поскольку воде мала

[Бык. Орфей]

До августа не спи – молчит селенье,  
и дерева развернутый рулон  
растёт как бык, на пастбище, в корове  
пролив её телят – как молоко.

В кругу дождя стоит нарезанной бумагой,  
глазами богоматери галдя,  
пока по ним текут гемоглобин и влага,  
и вероятно что – забавы для.

Бык слышит скрип цепей велосипедных  
внутри телят своих и спелых птиц,  
что вкрутят в механизм ручей бездомный,  
который сохранил внутри их лиц

своё подобие, и растворяясь, волю  
своей высокой кроны перебив,  
посередине вспаханного поля  
как бы Иисус неизгнанный горит.

\* \* \*

волчок кружится – как бычок  
точней окуроч, что полёта  
узнал всю суть пока сгорал  
обочиной где шла пехота

пехота облачная шла  
по краю встречи его с Богом  
где в отражении весла  
горела следом ей дорога

бычок кружился как дурак  
в губах у выжатой сирени  
что вызубрила их устав и –  
тени.

\* \* \*

Статичен твой фотоаппарат,  
любитель холодов, угрозы  
прихода снега в тёплый март  
из занебесной своей позы.

Спит человеческих певец  
и давит виноградин нежных  
ещё белеющую плоть.  
Сугробов, как стада поспешных,

спит человеческий птенец  
в кругу подводных своих сосен  
и ходит по нему то лес,  
то проходящие им лоси.

И у него, меж узких губ,  
сочатся сны, как кровь по дёснам,  
и лес растёт почти живой,  
пока его вплетают в вёсла

свои пловцы и зимовать  
летят сквозь кадр до половины  
то чайки с неживым лицом,  
то проводницы, что безвидны

растут посередине сна  
из древесины и вагона,  
и груди их за тьмой звенят  
на тесных долгих перегонах.

О если б ты меня в своём  
испуге смог на дне заметить  
то был бы смазан этот слайд,  
как свет, что выбит на олене,

переходящем вброд свой сон,  
как бы охотников и стужу,  
что связаны внутри его  
как свет или – возможно – туже.

Идёт из фотографий снег  
и падает в тебя сквозь веки:  
он лёгкий так, как будто смерть  
придёт навеки.

## СКОРБНАЯ ПЕСНЬ

Мерцающий, как столб стоит Тыдым  
внутри у живота семейства псовых  
лакает от костров весенних дым  
из листьев клёнов чёрных леденцовых.  
чи бубенцы звенят из живота,  
который – мной взбугрившись – внутрь заплачет  
почти заговорит (читай: простит),  
что в мире этом ничего не значит.

Мерцающий ведром на глубине  
Тыдым с моим лицом нечеловечьим  
звенит в ключах у ангелов моих,  
которых он собрал из всех увечий  
моих, где непросто и болит,  
как будто бы себе противоречит,  
когда в его попал водоворот,  
в воронку исчезающего взгляда,  
ты видишь ровно всё наоборот  
стоя в раю, как бы в преддверье ада.

где ты лишь смена слайдов на стене  
и пальчики твои семейства псовых  
всё ковыряют ангелов в спине  
Тыдыма, рая – этих трёхголовых



сажают на плечо своё, как птиц,  
которые глазект нами вниз,  
как рыбаки на все свои уловы.  
Прекрасное здесь место умирать  
и говоря в колодец вертикальный  
не рай в его анфасе опознать,  
но стыд, с которым не бывает слада.

И свой Тыдым возьмёшь за поводок,  
за паводок, как небо бесконечный,  
ты с ним пойдешь, пойдешь через него –  
хоть счастье это будет мукой вечной.

\* \* \*

Круги рисует отраженье,  
от чайки оторвавшись вниз,  
сидишь и ножками болтаешь,  
как будто меж душой завис

и этим телом, что беспечно  
всё смотрит бедной головой,  
рыдает, плачу растворяясь,  
невероятно надо мной.

\* \* \*

В земле спит госпиталь пернатый,  
в пелёнках дёрна и дерьма,  
когда проходит над больными  
в их плоть ужатая зима,

когда ужалит их печальный,  
который ангелу сродни,  
их головы внесёт в палаты,  
чтоб там узнали их свои,

чтоб говорили этим страшным,  
молчащим, птичьим языком,  
который скрыт, как тёмной чашей,  
прозрачным, словно язва, ртом,

чтоб на губах у паровозов,  
лежащих в недрах стрекозы,  
стояли тени от мороза,  
который дарит им бинты,

чтобы черёмуха над ними  
глодала воздух с папирос,  
и Бог стоял посередине  
и непонятный, как вопрос,

и забивал в язык им гвозди  
и говорил с собой из них:  
мы в госпитале этом гости,  
когда всем ангелам видны,

мы в госпитале этом зреем  
и прозреваем от зимы,  
в которой в воскресенье верим,  
лежа в лице у темноты.

\* \* \*

Теперь живём не опасаясь,  
но с постоянством неживым,  
с кровати до утра вставая,  
не узнаём своей жены,

её живот уже бездетный,  
её душой набухший плод,  
который, в плоти её беглой,  
всегда на миг лишь оживёт,

и в сны, как иней, распадаясь,  
рисует плоти моей круг,  
и страшно рядом начинаясь,  
не обрывает длинный звук,

не останавливает время,  
скорей во времени дрожит,  
надеясь, что её цветенье  
старения не удлинит,

и, вжав в царапины колени,  
как будто свет прияв в себя,  
она лежит на крае тени,  
чуть отдалившись и, продля

моё в садах существование,  
где ангел жнёт, как снегопад,  
мою тоску от расстоянья  
к губам, как дудочку, прижав.

\* \* \*

Смотришь в снегопад, а он – в тебя,  
всё что происходит здесь – любя:  
бабочки, цветенье, умиранье,  
лошадей [незримых нам] камланье,  
дым, который родина моя.

Смотришь в снегопад – не удаляясь  
от его бесплотного лица –  
всё, что происходит – наказание,  
удлинение тени и меня,  
и роса вязанок стрекозиных  
на ладонях длинных у огня.

Смотришь в снегопад и, удивляясь  
этой вишне, майский тёмный жук  
удаляет смерть мою из сада  
лапою щетинистой, как лук.

\* \* \*

Есть три молитвы у меня:  
одна из них, как гроздь – вина,  
вторая – где благодарю  
за данный стыд мне и вину,  
и третья – радостна, как горе,  
невероятная, как смерть,  
звенит ключом твоих присутствий  
и отпирает неба ветвь.



\* \* \*

Чеширская улыбка стометровки  
вдоль удаляет тело бегуна  
и он стоит в самом себе не тонкий,  
распухший словно родина слона.

А в центре у него, как у вокзала,  
повисла люстра на гирлянде птиц  
и слышен голос из её провала:  
скорее в бег, как в зреньё, обернись.

И сумерки из йода поднимаясь,  
как кхтулху фхтанг и примут и простят,  
когда он бег свой небесам доставит,  
улыбку покидая, словно ад.

\* \* \*

Лист, разлинованный как ангел,  
лежит, роняя хлорофилл –  
под светом то со всем истаёт,  
то соберётся из обид,

и мне лицо пройдёт иголкой,  
перешивая тень мою,  
и, как попутчик с верхней полки,  
предложит пайку, как в раю.

И кто во мне зашевелится,  
как будто обретаю вид,  
и вдруг умрёт (читай: приснится –  
тому, кто здесь со мною спит,

кто говорит со мной оленьим  
своим [мерцающим] лицом,  
где оставляем отраженье,  
когда уйдём,

когда, нанизывая листья  
на нити уточек, мальков –  
неразличимы, словно ангел  
уже таков.

\* \* \*

*Сергею Ивкину*

Там, где тяжелая вода  
клонится головою  
в рыбачьи сети, никогда  
не плыли мы с тобою,

но сохраняли тишину  
внутри её воронок,  
где опрокинутая соль  
плывёт сквозь свет поломок

тяжёлых нами, как длина  
воды из рыбной сетки.  
А что вина? не тяжела –  
поскольку не ответить

пока не станешь рыбой ты  
и хлебом на пригорке,  
когда воды две головы  
растут из землеройки,

там, где [тяжёлый самый] свет  
в мои сочится плечи  
с сетей рыбацких и горчит,  
и сад подземный лечит,

откуда машет мне рукой  
моя на свет обида,  
как ящери пустой ковчег,  
что из воды им сшита.

Однажды в реку мы сойдём,  
как бы с ума – нестрашно,  
и станет легкими вода  
что будет нам неважно.

И обретет нас этот сад,  
и обретет свой конус  
[теперь обратный] тишины  
невероятный голос.

## ИМИТАЦИЯ РАЯ

*Александру Поповскому*

Красиво так звучит Еманжелинск –  
почти земля, что за пчелой летит,  
что всходит Богом из его глубин,  
где он по-человечески один.

Теперь уже он здесь не одинок,  
но узок – если встанешь на порог  
то станешь дверью и вахтёром – чай,  
не чаял ты того? давай – прощай,

красивый этот, как жужжанье птиц,  
где Бог вдоль состоит из наших лиц  
и щурится – как будто вновь на свет  
попал, как дырка, брошенная в степь,

и возведённая, как ангела провал,  
которого никто здесь не искал,  
которого невидимый скелет  
нам вероятно что мешает умереть

от счастья здесь родиться – в смысле в рой  
его войти. Ты книгу здесь закрой  
и расскажи, как плакала вода,  
что жизнь дана, увы, нам навсегда,

что повод есть ей плакать, что в тоске  
она не уподоблена себе,  
царапками всё трёт свои глаза  
чтоб наконец-то протекла река,

но вертикальный взгляд свой позабыв  
пчела сквозь тень свою в дыре летит  
и лижет пальцы, как Еманжелинск,  
и раздаёт, как милостыню, визг

пилы, что циркулирует, как кровь  
и – даже страшно повторить – любовь  
которая качается внутри  
качели этой – снова повтори,

что здание напротив – это рай,  
что пёс кирпичный [сколько не играй]  
всех ангелов приносит на слюне  
в Еманжелинск, а далее – везде.

\* \* \*

*Андрею Таврову*

Дудка светлая, июнь,  
завершаешься пичугой –  
человека пройден круг  
неспасительный испуга.

Дудка, светлая в цвету,  
переменчивей мелодий  
всех своих, стоит в меду  
несвершившейся погоды.

Вот угожья все твои,  
вот охота и гнездовье,  
вот твой выдох, вот мой штрих  
тела, что совсем условно.

Безусловный звук во рту  
у синицы или капли –  
спишь и зреешь, как зерно,  
дудка белая, как цапля.

\* \* \*

А дождь, который вход за дождь,  
а вовсе не вода,  
опять закинул в воздух дрожь,  
где круг бежит меня,  
меня вокруг спешит в чугуны,  
бежит среди камней,  
среди мертвецов моих спешит,  
бежит среди друзей,  
которым не был другом я,  
которых не простил,  
которых дождь или трамвай  
когда-нибудь убил,  
которых я забыл, как вдох  
и выдох или спирт,  
которых мякишем земли  
однажды закусил.  
И смотрит дождь через губу  
на тело моих слов,  
которые насквозь идут  
сквозь трубки мертвяков,  
которые теперь вода  
и потому легки,  
которые, как провода,  
лежат в винтах тоски,



которые, как пузыри  
ожогов или сот,  
бегут, средь ос без головы,  
стеречь из тьмы осот,  
всеодиначество моё  
они идут беречь,  
чтоб из воды собрать меня  
а тело моё сжечь.

\* \* \*

И поражения подарок  
из камня воздухом в руке  
разжатой стал, своё гнездовье  
не покидающим нигде,  
в стране обратной нашим лицам –  
он в хворосте и хворотьбе,  
в монастыре возвеселился  
и в крошках спит на бороде,  
он водоносом стал, синицей,  
что хлеб вкушает от руки,  
когда сгорают наши лица  
внутри покинутой тоски.  
На половине непечатной –  
стою оживший и другой,  
и поражения подарок  
держу разжатую рукой.

## ОДА ВО СЛАВУ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Щербатый охранитель всех от нас,  
посередине сей литературы –  
летит в холмах, как вол и овцепас,  
следя с конструкций, то есть корректуры:  
архитектуру, инженеррию, припас  
не боевой – словарный. С тёмной дури  
пускает пчёл, шмелей, стрекоз земных –  
конечно, ангелов с лицом сквозной собаки,  
которые, как штопор, не слышны –  
пока словесной не случилось драки.

Вот сапоги отмыты от него  
и глины, в нашей коже состоящей –  
он смотрит: вроде больше никого  
в нас не осталось – повторись не в чаще,  
мгновенье, в наворованном свету,  
который невозможно настоящий,  
который не изловишь на лету,  
не принесёшь в гнездо. Теперь всё чаще  
в нас смотрит Бог, прозрачней кислород,  
и слово, как могила нам, всё кратче.

Свetaет, я хотел сказать – прости,  
но получил – простишь, проспишь, пройдишь вдоль  
удоли языка, который нас  
сумел избыть, молчанье нами выбрал.  
Мы научились сладостно молчать  
и энтропию состригать, как ногти,  
и уходить, как бы трамвай сквозь Чад,  
который озеро, поскольку одинокий  
трамвай – несмертен – мчится сквозь него,  
проходим всем размалывая ноги.

Поскольку ночь надёжно высока,  
поскольку Бог не спит над головами,  
поскольку смерть уходит не одна,  
а, вероятно, только вместе с нами,  
поскольку ужас – это мелкий бес,  
так собачонка в сельском балагане,  
которая имеет некий вес  
пока не пугана портвейном и слогами –  
когда уже обрушена с небес  
зиждителем, а вовсе не богами,

поскольку остаёшься ты один,  
когда свои рассматриваешь крохи,  
забытые гостями на столе,  
ушедшими на выдохе – не вдохе –

так плачет в них поэзия, язык,  
и мчится прочь, в Сибирь мою, на волке –  
ты всё звенишь, как яблонь бубенцы,  
в каком-нибудь ненайденном пророке,  
словесность, столь похожая на смерть,  
что понимаешь – мы не одиноки,

\* \* \*

Аист заходит шурша, как дождь  
[от дождя прока мало – только снотворный] –  
дождь и морфей – имя одно  
бьётся о дно опустевшей купели.  
Спой меня, дождь – я похож на июль,  
на бочку с водой, где водомерка  
свила гнездо от, а не до,  
хлопает голоса полая дверка.  
Был голосом я, а теперь без него  
в дождь прорастаю – особо в июле  
там где шуршат аисты мам  
и в пузырях долгожданных ликуют.

## ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ СНОВИДЕНИЙ

*Опыты*

Как негативом – сон замороженный  
стоит и хнычет – словно обожженный,  
как крынка полнится и птицами кипит,  
и вдоль причала [словно бинт] лежит,  
как снега стая с тёмной головою  
во тьме трубы, в которой он свистит.

И вот сужается до горизонта кадр,  
и темноте теснее среди жабр  
летащем в птахе небе вертикальном,  
которое косарь с травой сжал  
до черно-белых – так как будто мал  
был ангел – снега в небе заиканий.

Вот выдохни себя скорей, сынок –  
здесь вероятней выдох а не вдох  
ты – пар от лиц, стоящих между лодок,  
ты был невероятно смел и лёгок,  
когда внутрь лёгких пчёл рой зашивал  
на нитки их полёта – без иголок,

на голос триединый, как овал.  
И день, что начинается на беглый,  
перед тобой почти как Бог вставал,  
и этот день всегда был только первый,  
един, как ангел и его провал,  
и шли на свет его – в кровь – пионеры

и каждый третий в них был интервал,  
чьё чтение похоже не на нервы –  
на камень хлеба, что вину призвал,  
и каждый чёрный был почти что девой  
которую свет в рёбра свои сжал,  
вдруг уплотнившись в снег и след на снеге,

*где птичьи мельницы дыханья Бог взломал.*



## ЖМУРКИ

*Алексею Сомову*

Когда бы авиатор жил в раю  
с вороньей мордой – что проговорю?  
проговорюсь? – за чаем поднебесным  
рукою ангелов нащупывая, если  
здесь существуют ангелы сейчас,  
когда нас не покинет Бог – подкинет,  
и из кармана жизни мёртвой вынет,  
чтоб перочинным ножичком метать  
в добро свое, которое неверье  
уже почти успело запятнать –  
вогнав в метели неприятной меры,  
когда мы начинали лишь считать.

Вот раз и два, пилот мой слепошарый,  
ты катишься уже в своей дали,  
меж кислорода гелием поджарен –  
и дети вслед кричат тебе: гали!  
мы здесь тебя совсем не ожидали –  
но вылепили тело = посмотри  
в вороний глаз, где русский, как Тугарин –  
один лежит внутри у всей степи –

так ошарашен светом и ударен  
калиткой красной – тощей на просвет –  
не говорит, качается в нас краем,  
и видит ангелов, которых вовсе нет.

В тугих горах проходит самолёт –  
у самолёта – ангела живот,  
и, кажется, теперь не понарошку –  
нас кто-то задевает неживой –  
рукой – сухой всех ангелов сметая,  
в свой длинный продолжающийся рой –  
пригнись, пока тебя не проиграли  
дыханию, что кончится губой.

\* \* \*

Потраченный песок,  
что Бог оставил нам,  
становится оленем,  
взбегая по холмам,

становится детьми,  
что спят вовнутрь себя  
и учатся любви,  
почти что не любя,

становится тобой,  
почувявшей меня,  
становится углём,  
что в ёмкости огня

закручен, как спина  
у стрелок часовых,  
что крутятся внутри  
деревьев неживых,

становится иглой  
в руках у темноты,  
которая игрой  
со смертью на ты

увлечена – и что  
ответить нам теперь?  
когда она дрожит,  
прозрачная, как дверь,

где ветерок хрустит  
в несбывшейся руке,  
где мы теряем вид  
в расплывшейся реке,

где зверь закроет тьму  
на солнечный сентябрь  
в который я нырну  
чтоб вынырнуть без жабр,

в котором никого,  
но – атомарный свет,  
что отдаёт нам Бог,  
которого здесь нет,

проходит сквозь двоих,  
что, как мутанты спят,  
пока целует в лоб  
их Бог, как жеребят,

в просыпанный песок,  
из света заходя,  
который, словно дно,  
звонит внутри дождя

## АНГИНА

Когда сон выдувает нас сюда,  
как будто мы теперь его слюна –  
мы облетаем осень, как деревья,  
которые стояли у окна,  
которые простуда и верёвка,  
которая отсюда не видна.

Когда слюда в запаянных камнях  
гранит росу, в которой скрыта птица,  
похожая на каплю молока,  
которая мелькает, словно спица –  
внезапно посмотревшая сюда,  
где камень на детей двоих троится.

Когда с тобой прозрачные стоим  
и говорим легко, но непросторно,  
как будто утеряли вес и грим,  
когда нас выдувал сюда [условно  
наш] сон, и мы ложились на стекло,  
в даггеротипы августа, как зёрна.

И сад вокруг, как колесо, несло,  
калечило и – насекомых ровно  
ложился рой на рыбака весло,  
впадая в отражение от овна –  
который поминутно есть число  
твоих дыханий в стеклодуве тёмном

который нас здесь запер изнутри  
в дыхании своём всегда повторном.  
Ворон диагональ на счёте три  
взрастёт в метель – случайно или вздорно  
коль не устал, то снова всё верни –  
пока мы спим не живы и не мёртвы:

Вот впадая вода течёт в тебя,  
вот темнота, которая снаружи,  
вот ты стоишь и стоишь лишь себя  
или тагильской женской страшной стужи  
и – треугольный мир наш возлюбя –  
помехи сон простудой красной глушит.

\* \* \*

И дождь, который стая птиц,  
и смерть, в которой жизнь  
свила горячее гнездо  
для многих своих лиц –

всё это ремесла итог,  
что вытащит с земли  
своих прозрачных мертвецов,  
которые смогли

увидеть то, что нам живым,  
увы, не разглядеть,  
и потому их плотный хор  
нас продолжает петь

среди стрекоз или кротов,  
которые внутри  
сплелись, как некий средний род,  
который подвели

его отмазки и печаль,  
и кожа, но не та –  
таится, как звезда, печать –  
бугриста и густа.



И вот, когда к моим устам  
прибьётся темнота –  
которую не избежать,  
возможно/никогда –

взорвётся наш стеклянный куст  
и некто посетит  
мои земные небеса,  
к которым снег летит,

и я покину чёрный куб  
чужого языка,  
с родимым пятнышком,  
что спит, как птаха, у виска

И распрямляя дождь, как взгляд,  
который без меня  
летит сквозь молока спираль  
всем мертвецам родня

и видит только зеркала,  
что исполняют сад,  
идуший, с трёх своих сторон,  
не требуя наград,

где птицы – это только дождь  
и жалость о себе,  
ты смерть свою к себе прижмёшь  
во всём её х/б.

И будет продолжаться сад  
и смех пустых стрекоз,  
которые боятся нас  
и двойников обоз,

где ангелы звенят внутри,  
и в скважины на свет,  
ложатся, как вода легки,  
и убирают смерть.

## ФОМА

Не снег упал, но человек в него  
себя вложил, как речь или мерцанье  
экрана, где не видишь своего,  
и запечатан изнутри неявно

совсем иной, грачиный тёмный глас,  
дудит в трубу полночной карусели,  
что крутится внутри себя, как лаз –  
то, как лицо, то, как нутро метели.

Фома, Фома, опять всё пропустил,  
как воробей сквозь слепоту и руки,  
и облака твои опять густы –  
с той стороны, где кирпичи и звуки

опять в снегах идёт к тебе стена  
как ниточка и свет неприглушённый  
и ты ей внемлешь – будто ты вина  
кувшин для голоса и тьмы приотвлённый.

Не свет упал, но человек в него  
сложился – тем преодолев мерцанье,  
и не равна длина длине его  
ожогов на перстах на опознание.

## ФОТОГРАФИЯ ЗМЕЯ

В силоч попав даггеротипов общих  
бумажный змей артачится и ропщет  
на это небо, что его лакает  
собачьим языком из нашей дали.

Он удаляется – чужой и мне и небу,  
воде и человеку или хлеву  
и озеру, которые вырастают  
в свои потопа – ничего не ради.

Бумажный змей уже наполовину  
не виден здесь [ещё мы видим спину  
его сутулую – на ниточке не нашей] –  
и, в урне погребальной всплывши,

он бегуном, раскинув свои восемь  
прозрачных ног, в хрусталике уносит  
циклопью слепоту или печали,  
и там свистит – как будто на причале

там станет лодкою еще одной поболе,  
ещё одной историей и полем  
многоязычным – где уста смыкая  
он спит в росе, чужбин земных не зная.

\* \* \*

Складное небо, что вмещает зонт,  
на обороте пишет эфиоп –  
хозяин самогонной нашей взвеси,  
которая несёт прекрасно вести,

чьи чудны, в нашей тьме, колокола  
ещё до гула, то есть до угла,  
который станет каменным углём  
шумящим то искусством, то теплом,

то женщиной, что ждёт на половине  
другой, которую – как шашки наши – сдвинет  
от зрения случайный перелом  
в складное небо, что со всех сторон.

\* \* \*

Солома, что в слепые облака –  
под утро наше – разожжет душа,  
летит сквозь ангелов вокруг, пока  
слабы ея огни, во нас дрожа.

Мы вынем рубль чтоб взять хлеба свои,  
и мясо, что двоится на крови,  
и будет утро или день един –  
как камень на углах своих стоит.

И, предстоя замысленным углём,  
ты видишь Бог в тебя со всех сторон  
заходит, как солома в облака,  
врастает сквозь ладони рыбака.

\* \* \*

Уже не я живу, но он растёт во мне,  
как свет, что выпадает по центру ноября  
и щурится на снег, что кружится в огне,  
его волчок распадом, как атом, заведя.

Уже не я иду, но он идёт со мной,  
и ласково со мною о всём своём молчит,  
и кормит молоком чужие поезда,  
и это молоко внутри меня горчит.

Сужаясь в голос мой и сумерки мои,  
он стаей воробьёв ложится вдоль меня  
и делятся пузыри ожогов и следов,  
когда не я живу, от смерти отклонясь.

\* \* \*

Без человека – ласточка, синица  
пытаются до нитки распрямиться  
до нити, что проникнет в лабиринт  
игольчатый, как ухо или бинт.

И, расставаясь с тушкой скорострельной,  
взлетают птахи в снеге незаметном,  
и кружатся, и крутятся, как тьма –  
у колеса нутро всё запятнав.

И, догорев, у голоса в овале  
растут, как зерна холода и стали,  
у зрения слепого моего  
не оставляют больше ничего.

Они – легки, а вовсе не пернаты,  
их лица человечески покаты,  
и катится по ним одна слеза –  
уже бесчеловечна, как лоза.



\* \* \*

Ресница и слеза,  
что в ней, как зверь, блуждает –  
как будто бы окружность  
по краю обрезает,  
как будто бы живой  
ей предназначен воздух,  
или высокий дух  
её сквозь прорезь бросил  
куда-нибудь сюда,  
где мотыльки недлинны  
и держит Бог кулак,  
как ножик перочинный,  
и вырезает нас  
у зрения собаки –  
пока её слеза  
кровит по каждой капле.

\*\*\*

Смерть проходит сквозь меня,  
словно женщина любя,  
превращается в росу,  
что приклеена ко лбу

в нас токующей воды,  
где патлатые волны,  
как словарь, немного русский,  
изрекают валуны,

где пытаюсь нас узреть  
жизнь старается изречь  
нас в колодцах своих узких,  
чтобы после рядом лечь

под высоким небом – им  
смерть покажется живым  
скрученным в огонь котёнком  
тёплым мокрым голубым,

как тьмы тела, где течёт  
время и наоборот –  
тело пробивает время,  
в бубенцы взрывая лёд.

Лёд, как бабочка летит  
не водою дорожит  
а той женщиной любовью,  
что как смерть принадлежит  
одинокому мужчине,  
что внутри её парит.

Смерть уходит сквозь него  
приоткрыв свой синий рот –  
и синица в её сердце  
машет белым, как платок.

\* \* \*

Бог возвращает серебро соломы,  
открывши дверь огня ей до себя –  
покуда это небо её тронет,  
покуда этот ангел, тербя  
её рубашку, то вздохнет в метели  
то не заметив краешка дождя,  
запнётся, в смысле встанет на колени,  
но не дожждётся веры, вновь пройдя  
в иную Тверь, в иное нараспашку,  
иные облегая имена,  
Бог лепит из соломы человечка –  
возможно, что он вылепит меня  
и раскрывая хлеба грудь, как дверцу,  
он молоко из воздуха подняв  
возьмёт себе неумершее сердце,  
чья корочка уже не берега.

И он напоит тёплую ворону  
и ту калитку, что скрипит меж нас  
в огне и серебре – как бы солома,  
которую никто из нас не спас.

\* \* \*

Вероятно, что стая птиц – это листья, что  
отрывают от веток лапки свои, как боль,  
что полёт похищает у них, расторгая сон  
и трещотку воды заведя, чтоб искрила соль.

И когда ты выходишь у тьмы, словно взрыв грачей  
или голос ангела, что был утерян в них,  
как исшедший и, совсем никакой, Тесей,  
затворив из их слепоты, как полёт, лабиринт –

вероятно, у них есть шансы, пройдя его  
оказаться в краю где остался лишь вещий слух  
и оторванный край у клёна, что видит, как в них светло,  
и опять сторожит их лапки, полёт вспугнув.

\* \* \*

И, небо раздвигая словно створки  
окон своих, здесь бабочка летит –  
куда она на жизнь свою посмотрит  
когда её никто не повторит?

Не повторит сокрытого полёта,  
который завершается, как мёд,  
стекающий спирально вокруг плоти,  
в которой она больше не живёт,

где небо, став булавкою свинцовой,  
её прижмёт к стареющей груди,  
что молоком наполнена и брызжет  
вращая в задыхания круги,

но бабочка лежит на крае смерти  
и раздвигает скобки, как пейзаж,  
где сад горит внутри её отметин  
и меж упругих крыльев ей пожат.

\* \* \*

В туннеле света рой и пчелы  
шуршат своею темнотой –  
за ними вол идёт, раздвоен  
вдоль, электрической дугой.

Он полон бога и вольфрама,  
звонит телятами внутри,  
и на боках его три шрама  
с прекрасными его детьми,

с его чиханьем и простудой  
и смертностью его в очах,  
которая растёт за гулом  
фабричных ангелов в ключах

от этой жизни всеянварской,  
что не уместится в санях,  
что учат здесь язык татарский  
вслед рою из тыдымских птах.

Он не заметит, то, как пчёлы  
его обнимут там, где свет  
расширится и в бок ужалит  
в четвёртый шрам на темноте,

которую они сшивают  
своей последней прямою,  
и шрам почти что оживает,  
не понимая, что живой.



\* \* \*

Беги, беги, ягнёнок, вдоль воды –  
в итоге мы окажемся правы,  
едины истечением и травой,  
что прорастает вслед за нами на другой  
поверхности, инаких берегах,  
сужающих калитку тьмы в устах.

Беги, беги от пастбищ тощих ив,  
чей дождь внутри был больше, чем залив,  
чи скрытны и безлицы рыбаки,  
что чайками сидят внутри росы,  
где яблоко стеклянное небес  
глядит на их обрушившийся лес.

Беги, беги, пока тебя парной  
верёвкой не связали со звездой,  
пока всех виноградин дым быстреей  
рубцами, что похожи на людей,  
чья не доказана, не принята вина,  
а брань ещё просторна и пряма.

Беги, беги, ягнёнок в жернова  
из воздуха, где воздуха сосна  
твоя растёт, чтоб после лодкой стать,  
в которой ты научишься летать –  
когда тебя увидят рыбаки –  
как дирижабли встав – внутри легки.

Беги, беги, ребёнок, в эту речь,  
которую возможно не избежь,  
которая сужается в сосцы,  
и их ты беребишь, чтоб тёмно рцы  
тебя обрушило в росу, там где  
бегущий агнец возвращён своей воде.

\* \* \*

Окажется воздух кессонным ,  
прошитым, как жабры стрижей,  
сшивающих нашу природу  
с разрывом, мерцающим в ней.

И, слушая наших качелей иголку,  
на входе в золу, надеюсь,  
что голос негромкий  
свой вынесу, коль не спасу.

## МЕТАМОРФОЗА, СОЗЕРЦАЮЩАЯ СЕБЯ

Такое впечатление, что этой поэзии противопоказана точка. Строка тянется за строкой, словно не насыщаясь сама собой, гоня перед собой волну превращений, рождающих новые превращения. В принципе, их длина бесконечна и лишь условно прерывается графическим окончанием стихотворения, чтобы, вырвавшись на свободу и продолжение в начале следующего – продолжить бег метаморфоз.

Отношения между вещами и именами для такой поэзии важнее, чем сами предметы и вещи. Далеко не всем ясно, что мир состоит не из тех «имен» и «вещей», которыми пользуется обыденное сознание, в сущности, имея дело с фикциями, с социально-языковыми кодами, плотнвшими на узкой и мелеющей смыслами полоски социума в отрыве от луны, солнца и воздуха, как таковых, не говоря уже о человеке, воспринимаемом прежде как мир с морями, океанами, звездами и полетами ангелов, а ныне, как протезообразный объект воплощенный в три силы и покрытый сначала кожей, потом тканью, частично сросшийся с автомобилем и смартфоном.

В поэзии Александра мертвым (а для всех потребителей – главным) именам не удержаться, для этого у них просто нет времени и места. В мире нарастающей волны, в пространстве, где отношение первичней предметов, вступивших в него, словарные значения слов не удерживаются, а терминология теряет почву под ногами.

Читателю, привыкшему к той или иной устоявшейся форме прочтения, эти стихи читать нелегко, потому что сбивается планка, не за что зацепиться. Вот мелькнули несколько привычных предметов, фабрика, снег, рабочий (из стихотворения ЕКТОРАЗ ТУДУМЕ, посвященного А. Пермякову) – сознание радостно расслабляется, но тут же теряет точку опоры, потому что фабрика и снег и рабочий окажутся не теми, что мы знаем по своему опыту и не теми, чье значение нам растолкует словарь – совсем другими, из незнакомого почти что мира.

И все же этот неведомый и беспокоящий нас мир – это тот самый мир, в котором мы живем, дышим, добиваемся своих целей, подстраивая смысл этого мира и его подсмыслы под свои задачи, достаточно жестко оформленные и конечные, тем самым формируя актуальный словарь омертвевших жестких и конечных слов-терминов... а тут эта бесконечная волна смыслов, чура-

ющаяся точки и не находящая никаких жестких и конечных берегов с барями и автомобилями, где все так ясно.

Практика поэтического и философского приоритета отношения между вещами, а не самих вещей имеет древнее происхождение и восходит к древнекитайским философии и поэзии. Возможности такого подхода к миру, несвойственного европейской поэзии, были впервые опробованы поэтами модернистами в начале 20 века (Паунд, Уоллес Стивенс) и продолжают по сию пору. Поэзии, чтобы стать современной, надо вернуться к своим древнейшим смыслам и с ними войти в мир тех декораций, которые на сегодня окружают человека. Войти, взламывая их и колебля, но не разрушая. Думаю, что это и есть актуальная поэзия, не утратившая собственного смысла.

Правда, следует заметить, что отношения между вещами у Александра не успевают стать пространством живой пустоты, в котором отстраненно, в духе у-вэй, могут ненасильственно встречаться смыслы. Отношения этой поэзии – вещественны, созданы одной вещью, перетекающей в другую. И здесь стоит вопрос – не слишком ли уплотнена такая поэзия, не стоит ли дать ей больше внутреннего изначального пространства, которое так хорошо знали, например, Рильке или Трагль...

И еще одна древнейшая практика, подступающая вплотную к нахождению такого пространства

*Ты понимаешь это? – если да,  
тогда не двигайся, смотри – здесь всё не ладно:  
здесь женщина, в которой спит Орфей,  
не возвращается, поскольку не уходит,  
но вышивает лишь мужчину на себе,  
который [будто смерть] её не тронет, но станет продолжением её,  
дыханием её равносторонним.*

Это из стихотворения « Орфей », цикла « Бестиарий », на мой взгляд, виртуозного и беспрецедентного в отношении интенсивной пластики метафор. Если вы прочитаете эти строки несколько раз, то обратите внимание, что смыслы «внутри» и «снаружи» этих стансов взаимозаменяемы. То, что для нас «внутри» на самом деле оказывается наружи – Орфей спит в женщине, которая вышивает его на себе, его прорастающее бытие взаимоотнообразно – и снаружи и внутри женщины.

Только так он может быть, только так она может явить его миру и жизни. Вполне возможно, что в другой ситуации несвязанный с ней Орфей возникнет иначе, и пластика для его бытия окажется иной, но тут она такова и тут она безупречна.

«Как вверху, так и внизу», - говорит древнейший герметический корпус, - «как внутри, так и снаружи». Это так называемая «Изумрудная скрижаль», которой так широко начали пользоваться философы во времена европейского возрождения, когда внимание к небесно-земной пластике усилилось.

Мне всегда был неприятен авторский произвол. И все более увлекает анонимная пластика природы. Древние тексты, о которых я говорю, были отзывчивы к анонимной мудрости, как и народные песни. Поэтому, если я и упоминаю эти почти забытые тексты, то только в связи с ненародностью зрения Александра Петрушкина, с его парадоксальной, но не вымышленной оптикой.

А если говорить о более явной преемственности этой поэзии, то она восходит отчасти к русскому метареализму, развивая его головокружительную метафорику. Но если метафоры, например, А. Парщикова, стремились найти точные скрепы, способные зафиксировать неуправляемый и хрупкий мир, по крайней мере, в критических его точках с помощью горящих и уникальных по точности метафор (чтобы стекло мира не разлетелось на тысячу осколков), то метафора Александра Петрушкина, сама - мир, переливающийся из одной своей формы в другую и не подлежащий фиксации.

Такие метаморфозы словно бы организуются во внутренне подвижные и играющие формы стихотворения, схожие с прозрачным стаканом, в котором растворяется, клубясь и фантазируя бесконечно длящиеся щупальца, кристалл марганца. Таковы невероятные «Кони Диомеда», стихотворение, равного которому по трагическому метафоризму и пластике, я не встречал.

### *[Конь] КОНИ ДИОМЕДА*

*Накормлен был он мясом человека  
стоит, как яма, посредине тени  
своей пятном, съедающим все тени  
в губах у мрака. Впрочем, всё равно  
он начинает скачку, приближаясь  
к её началу – вновь наполовину –*

*почувствовав вину, длину и глину,  
которые поил своим вином.  
Как виноградная лоза несёт он выдох  
проросший из войны, любви и праха,  
что остаются в скотской его гриве,  
что свита из лица, читай из страха  
младенца, узнающего, что смертен,  
как этот конь, что пожирает яму,  
и яма из него на свет весь светит  
и обнимает мир, как Бога рану.*

Перечитайте эти стихи еще раз, не торопясь, и вы поймете разговоры про «вещь в себе» не по Канту, а к ней прикоснувшись. Просто произнесите строку – «почувствовав вину, длину и глину» и ощутите, как гудит, тянется, строит и играет это эхообразное «у». Признаем, не боясь старых слов, что тут мы имеем дело с шедевром.

Я мог бы много написать об этой интереснейшей поэтике и, может быть, еще сделаю это, задержавшись, например, на влиянии русской иконы на организацию стихотворной пластики и вспомнив принципы «обратной перспективы», сформулированные Павлом Флоренским. Один из них – взгляд на предмет не с одной точки зрения, а сразу с нескольких. Такой взгляд способен двигать предмет в смысловом пространстве, распаковывая его в нелинейных полях зрения и смысла. Этот процесс мы также наблюдаем в стихах Александра Петрушкина.

Эта поэзия говорит о том, что мир не так однозначен, как о нем принято думать, что мир это то, что мы не созерцаем, а творим. И то, что сотворит каждый с этим гибким, податливым и серьезным, как жизнь и смерть, материалом идет в копилку общего творения будущей вселенной.

Та планка, которую берут стихи Александра – высока, они развиваются, у них огромный потенциал, и хочется пожелать этой замечательной поэзии в ее развитии сотрудничества с внутренним пространством стихотворения, тем самым, которое слова могут ощутить как пространство собственного возникновения, как бесконечный простор вдоха и выдоха, откуда вышли они сами.

Я понимаю, насколько высока цель. Но мне кажется, что книга стихотворений, которую мы только что прочитали, как раз и развернута к этой мало кому дающейся задаче, как к далекому, но уже обозначившему стороны света маяку.

***Андрей Таиров***



**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ**  
**СЕРИЯ «ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ»**

**Александр Петрушкин**

Подробности: книга стихотворений

**Предисловие**

Наталия Черных

**Послесловие**

Андрей Тавров

**Корректор**

Марина Комарская

[www.lulu.com](http://www.lulu.com)

[www.promegalit.ru](http://www.promegalit.ru)



Подписано в печать 26.10.2015 г.

Формат: 148x148 1/16

Тираж: 400 экз.